

Семь дней - 1995
27 нояб. - 3 дек.
- с. 3.



расклад

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ, ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ

СУДЬБА

ЗАПИСКИ АКТРИСЫ

Нонна Мордюкова – не только великая русская актриса, подлинное олицетворение своего народа, но и яркий писатель. Это стало известно совсем недавно, когда журнал "Октябрь" начал небольшими порциями печатать ее пронзительно-исповедальные "Записки актрисы". Фрагмент новой главы "Аскольдова могила" мы предлагаем сегодня вниманию читателей. Полностью она увидит свет в "Октябре" в начале будущего года. Теперь, читая книгу Нонны Мордюковой, мы начинаем представлять, какой ценой заплачено за эту чистую и достойную актерскую биографию.

...По окончании института жили сперва в бараке, потом комнату дали в коммунальном – а четырехкомнатную квартиру вселились четыре счастливые семьи. Радовались и мы, хоть нам и досталась проходная комната. Десять лет через нас ходила чужая семья. По условиям пожарных перегородку ставить было нельзя. Висел на шагате фанерный лист. Четыре семьи, четыре метра кухни и четыре конфорки на газовой плите. Не дотянется, бывало, хозяйка ложкой к своей кастрюле. Маленький сын из-под фанеры выглядывает и зовет: "Ма-а-а!" Сладкий был этот голосок, самый главный и самый дорогой. "Иду, иду!" – отвечаю.

Материально было тяжело. Крутились. Перед получкой аж пот проберет от бедности по этажам с надеждой занять денег. Бывало, заплачу и взмолюсь молодому неприспособленному мужу: ну сделай хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь меры прими. Но он не знал, что делать. Все укорял: родила без моего согласия, теперь крутись. Однажды в отчаянии сунула руку в карман его пиджака, а там в паспорте десятка притаилась. Не почувствовал моим слезам...

Подрос сын, стал во двор выбегать с клюшечкой. Двор хороший, безопасный. Убираюсь, вожусь. Слышу голос с заднего двора:

– Ма-а-а-а!

Высовываюсь в форточку: стоит моя радость, улыбается, ямочка на щеке. Сбавив громкость, спрашиваю:

– Ты меня любишь?

– А как же, сынок? – счастливая отвечаю. Он довольный ходит.

Отец хоть и стал любить его, но он все льнул ко мне. Мой сын. Как расхохочемся с ним за столом или перед сном – удержу нету!

– Замолчите!

Куда там! С полуулыбкой, с полуслова понимали друг друга, на одной волне были, как говорится. У нас были наши "коды", жесты, мимика.

Вдруг влетает мое дитя и радостно сообщает:

– Мама! Буду деньги тебе зарабатывать! После уроков почту разносить по квартирам. Весь класс будет конверты разносить.

В меня будто выстрелили... Смотрю на него, дух перевести не могу. Небо пересохло, колени ослабли... Мы впились глазами друг в друга, как током пронзенные. Вижу, как его радость сменилась испугом, изумлением. Мне слышалось не "почта и конверты", а сообщение о сожжении всех мальчиков на костре.

– Почту? Какую почту? Ни в коем случае! – села на стул и закрыла лицо руками.

– Ладно, ладно! Я не буду, не буду...

Как я тогда посмела не воспринять, не поддержать его. Я, такая артельская, работающая, вдруг испугалась, воспротивилась, запретила. Невпопад запретила. Пресекала то, что надо было поощрить. Не сосредоточилась, не потрудились разобраться. Перед сном гладила его спину – слава Богу, не дала, не пустила: "Спи, детка, проживем и без почты..."

Потекла жизнь дальше. Моя опека крепчала: сынок сыт, обут, одет. Остальное ясно, как день, – приучайся к труду. "Ты моя, я твой" – излюбленный девиз сына. С детства и навсегда.

С годами и "тыльную" часть жизни каждого знали. Я била за жизнь, за искусство, его две женитбы и бы стать актером не лишили нас нерушимого сосуществования.



ТЫ МОЯ, Я ТВОЙ...

Теперь вот непрестанно является личико второклассника, все слышу его извещение о почте. Как укор, как удар в сердце. Как показатель невнимания матери.

Пока ребенок дышит кожей матери, можно направить его, куда твоей душешке угодно. Я это не принимала во внимание. Меня же никто не направлял! Это не совсем так. В селе упрощенная схема жизни: не работать – срам. Вот дом твой, вот работающие с детства люди, игры на поляне, тут тебе песни, сказки, привозное кино и парное молоко на ночь. Десятый класс я заканчивала в городе Ейске. Мама не ленилась проследить, с кем я пришла после танцев и во сколько. Мога и опозорить. "Ах ты, чертова сволочь, – по химии "двойка", а ты тут с морячками хохотать справляешься! Только стук начищенных ботинок по камням мостовой останется от новоявленного кавалера... А жернова большого города сильнее человека. По Москве и ходить нужно по-другому. Тут сам по себе не заладится человек.

Помню, горели леса Подмоскovie. Долго горели. "Это туман или дым?" – с испугом выходили москвичи на балконы. "Дым, дым!" Какие только сообщения не витали по радио и в устных рассказах. Тушили пожар все кто мог. Торф предательски тлел под толщей земли. Однажды полный солдат грузовик заехал на поляну и тут же, окруженный дымом и огнем, стал оседать в тарарары. Крики солдат, взмахи их рук! Тщетно... Грузовик все погружается в крошечный жар. Спасатели, пожарные мечутся, кто окаменел, кто волосы на себе рвет, по земле катаются. Кричат в агонии, помощи просят, спасатели им в глаза смотрят... А помочь не могут. Ни достать, ни кинуть что-нибудь. Ничего сделать нельзя... Я осталась на твердой почве. Не катаюсь по земле...

Я крепко ухватилась за кровать, на которой лежит мой сын. Он скрипит зубами, стонет, мучается. "Чем тебе помочь, детка моя?" Хочется приглубить его, взять на руки, походить по комнате, как тогда, когда он маленьким болел. Теперь на руки не возьмешь. Большой – на всю длину кровати. Хочется погладить, приласкать, но взрослого сына погладить и приласкать не просто. Помощи не просит...

– Мам, похорони меня в Павлово-Посаде.

– Ой, что ты... Что ты говоришь?

– Потерпи.

Я чмокнула его волосатую ногу возле щиколотки, горько завывала.

– Потерплю, потерплю, потерплю... Бывают же промежутки.

– Больше не будет, мама. Выхода нет... Ты моя, я твой...

К рассвету он примолк.

Я на раскладушке неподалеку, смотрю: подымается одеяло от его дыхания или нет. Решила не жить. Как и зачем жить без него? Потом заорала на всю Ивановскую, вызывая "скорую". Быстро приехали по знакомому уже адресу. Вставили ему в рот трубочку, она ритмично засвистела. Дышит. Теплый. Живой... Мчимся по Москве.

Когда вносили в реанимацию, я в последний раз увидела его ступни, узнала бы из тысячи... Помню, грудью кормлю его, держу его ножку и думаю: запомню – поперек ладони в аккурат вместились его ступня – от пальчика до пятки. Теперь повисли ноги мужские. В коридоре холодно, лампочка висит где-то высоко. Темно, неудобно. У входа в реанимацию, откуда доносится свист, его свист, стоит лавка. Я иссякла. Прилегла и подложила ладонь под щеку. "Зачем мы здесь, сыночек?..". Маленьким был, соску не взял, выплюнул. Я сокрушалась, видя, как с соской дети спокойнее. Тогда выплюнул, а сейчас вставили насильно. И я не дыша молю Бога, чтоб этот свист не смолк...

...Позвали меня давно, давно в съемочную группу фильма "Комиссар" на собеседование. По пути домой я вспоминала встречу, сценарий и забавно изумилась фамилии режиссера – Аскольдов... Интересно – "Аскольдова могила". Может, это рок? Может быть, на съемках боев меня конь забьет...

Оставила своего красивого, душевного мальчика-подростка на чужую тетку, обеспечила разными "прятниками" – и на четыре месяца в киноэкспедицию под Херсон. С картиной не ладилось: режиссеру преднамеренно не создавали условий для съемки, мучили, издевались. Приезжал директор студии, съемку приостанавливали. Режиссер, человек интеллигентный, внимательный, предлагал мне не раз:

– Может быть, съездите домой, пока есть пауза...

– Нет, нет, что вы!

И в картине боль, и сына вспоминать было тяжело. Не ехала я к нему. Ну что стоило вырваться на два дня... Старалась не вспоминать его, ни лицо, ни пальцы, ни голос. Бывало, едва сдерживалась, чтоб не бросить все и съездить. Как-нибудь доведу съемки до конца, а там и радость моя – сын... Вот как раз в эти четыре месяца его и "схватили". Вернулась я – он в больнице... Помчалась туда. Он был веселый и виноватый. Признался в том, что Сашка Берлога принес пиво и "колеса" (таблетки). Пылко заверил меня в том, что это больше не повторится. Я поверила. Хотела поверить – и поверила. Волнение не покидало меня и дома. Я незаметно смотрела на него и недоумевала, как он произнес "пиво и колеса", такие чуждые слова, с пониманием дела... Долго потом он не виделся с теми. Призвали в армию. Появилась надежда: время, режим службы, он окончательно забудет о прошлом. Вернулся из армии, и, не объяснившись с ним, я поняла – он прячет от меня вторую жизнь... "Хоть бы не часто, хоть бы, как раньше", – молила судьбу. Ходил на студию, ездил с театром по городам... Еще не доходил до окончательной апатии. Спустя какое-то время я молила о другом: "На этот раз пауза длиннее, теперь уже, наверное, навсегда. Хоть бы навсегда..."

– Да, мама – все! Сам себе противен...

Снова надежда – отдых душе. Жены пугались его "странных" дней и ухаживали. Тем более – ни "мерседеса", ни "видюшника", ни светской жизни...

– Здравствуй! – эхом под куполом старинного коридора прозвучал знакомый голос.

– Здравствуй, – привстав, взглянула на поздоровавшегося.

Это отец его пришел. Я закрыла лицо руками и разрыдалась. Плакать на его плече не пристало: мы уже давным-давно не жили вместе. Как оказалось, ни на его плече, ни на своей подушке не выплачешься за всю оставшуюся жизнь...

Нонна МОРДЮКОВА

"КОМИССАР".
СРЕДА, 29 НОЯБРЯ, 1 КАНАЛ, 21.45.